БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА
«ЛОГОС»

Вальтер Беньямин

Берлинское детство на рубеже веков

AD MARGINEM

Вальтер Беньямин

Берлинское детство на рубеже веков

«Ад Маргинем Пресс»

1987

Беньямин В.

Берлинское детство на рубеже веков / В. Беньямин — «Ад Маргинем Пресс», 1987

ISBN 978-5-7525-2783-8

«Эта проза входит в число произведений Беньямина о начальном периоде эпохи модерна, над историей которого он трудился последние пятнадцать лет своей жизни, и представляет собой попытку писателя противопоставить нечто личное массивам материалов, уже собранных им для очерка о парижских уличных пассажах. Исторические архетипы, которые Беньямин в этом очерке намеревался вывести из социально-прагматического и философского генезиса, неожиданно ярко выступили в "берлинской" книжке, проникнутой непосредственностью воспоминаний и скорбью о том невозвратимом, утраченном навсегда, что стало для автора аллегорией заката его собственной жизни» (Теодор Адорно). В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

ISBN 978-5-7525-2783-8

© Беньямин В., 1987
© Ад Маргинем Пресс, 1987

Содержание

Предисловие 5
Лоджии 6
«Императорская панорама» 8
Колонна Победы{1} 9
Телефон 10
Конец ознакомительного фрагмента. 11

Вальтер Беньямин
Берлинское детство на рубеже веков

Колонна Победы поджаристо-румяна
под снежной сахарной глазурью детских дней…

Предисловие

В 1932 году, находясь за границей, я осознал, что уже скоро мне придется надолго, быть может, очень надолго, проститься с городом, в котором я родился.

Я не раз убеждался в действенности прививок, исцеляющих душу; и вот я вновь обратился к этому методу и стал намеренно припоминать картины, от которых в изгнании более всего мучаешься тоской по дому, – картины детства. Нельзя было допустить при этом, чтобы ностальгия оказалась сильнее мысли – как и вакцина не должна превосходить силы здорового организма. Я старался подавлять чувство тоски, напоминая себе, что речь идет не о случайной – биографической, но о необходимой – социальной невозвратимости прошлого.

По этой причине биографические моменты в моих набросках, проступающие скорей в силу непрерывности, а не глубины жизненного опыта, отходят на задний план. А с ними и лица – школьных товарищей и родных. Зато мне было важно воссоздать *картины,* в которых отразилось восприятие большого города ребенком из буржуазной семьи.

Как мне представляется, такие картины имеют свою особую судьбу. Они ведь еще не связаны с определенными формами вроде тех, в каких естественное чувство уже не одно столетие хранит воспоминания о детстве, проведенном в деревне. Зато мои картины, картины детства, проведенного в большом городе, оказались способны сформировать зачатки моего восприятия истории в более позднем возрасте. И я надеюсь, они отчетливо отображают, как тот, о ком здесь идет рассказ, в более позднюю пору своей жизни лишился ощущения надежного крова над головой, дарованного ему в детстве судьбой.

Лоджии

Подобно матери, которая, прикладывая к груди своего новорожденного, никогда не потревожит его сон, жизнь долгое время заботливо оберегает нашу хрупкую память о детстве. Ничто не питало мои воспоминания столь щедро, как вид дворов, где была среди темноватых лоджий одна, летом затененная маркизами, ставшая колыбелью, в которую уложил меня, своего нового жителя, Берлин. Должно быть, кариатиды, поддерживавшие лоджию, что находилась над нашим этажом, ненадолго покинули свои места, чтобы спеть песню над моей колыбелью; и пусть в той песне почти не упоминалось о том, что ожидало меня в будущем, зато были в ней слова, навсегда сохранившие для меня пьянящий воздух наших дворов. Мне кажется, легкое дыхание этого воздуха проносилось даже над виноградниками на Капри, укрывавшими меня, когда я сжимал в объятиях возлюбленную, и, несомненно, этот воздух сегодня овевает образы и аллегории, что властвуют над моей мыслью, подобно тому, как кариатиды на лоджиях господствовали над дворами в западной части Берлина.

Меня убаюкивало ритмичное постукивание – и колес городской электрички, и колотушек, которыми во дворе выколачивали ковры. Оно было той заводью, где рождались сновидения. Поначалу без образов, полные, кажется, плеска льющейся воды или запаха молока, потом протяженные – сны путешествий и дождей.

Весна выгоняла первые ростки возле серой дворовой стены, а летом, когда запыленная завеса листвы, колышась, снова и снова шуршала по каменной ограде, шелестящий шорох ветвей старался чему-то научить меня, хотя я еще не дорос до ученья. Да и все во дворе давало мне уроки. Сколько бы мог поведать сухой треск, с которым поднимались зеленые оконные жалюзи! А сколько зловещих угроз я благоразумно не желал слышать в грохоте железных штор, когда они опускались на закате дня!

Больше всего меня занимал во дворе клочок земли, где росло дерево. Незамощенный, он был придавлен круглой чугунной решеткой. Под ее толстыми прутьями чернела голая земля. Мне казалось, неспроста прилажена на землю эта решетка; иногда я задумывался о том, что же происходит там, в черной ямине, откуда выкарабкалось дерево. Позднее мои размышления распространились и на стоянки извозчиков. Там корни деревьев тоже были спрятаны под такими круглыми решетками, но по внешнему краю решетки шла еще и оградка. На нее извозчики вешали свои пелерины, когда, качая насос колонки, наполняли для своих коняг углубленную в тротуар поилку сильной водяной струей, смывавшей прочь остатки сена и овса. Эти стоянки, чей покой лишь изредка нарушался прибытием или отъездом дрожек, были отдаленными провинциями моего двора.

В лоджии от стены к стене тянулись бельевые веревки, пальма в углу смотрела бесприютной бродяжкой, тем более что давно уже все привыкли считать ее родиной не черный континент, а гостиную соседней квартиры. Так было угодно закону сего места, некогда бывшего средоточием фантазий его обитателей. Пока оно не кануло в забвение, его порой озаряло своим светом искусство. Сюда находили тайные пути то подвесной фонарь, то бронзовая статуэтка, то китайская ваза. И хотя старинные эти вещи лишь изредка оказывали честь этому месту, сами они были под стать некоторым приметам его старины. Помпейский багрянец, широкой полосой лежавший на стенах, был неизменным фоном всех долгих часов, что застаивались в столь уединенном приюте. Время старилось в этих сумрачных покоях, открытых со стороны двора. И потому, когда я поздним утром, выйдя на лоджию, лицом к лицу сталкивался с временем, оно уже так давно было поздним утром, что казалось, здесь оно более полно отвечает своей сути, чем в любом другом месте. На лоджии мне никогда не удавалось дождаться этого часа – всякий раз он уже дожидался меня. Когда же я наконец подстерегал его, оказывалось, что позднее утро давно настало и даже как будто успело выйти из моды.

Впоследствии я заново открыл для себя дворы, когда увидел их с железнодорожной насыпи. В душный предвечерний час я смотрел из окна вагона в глубину дворов и думал: в них затворилось лето, отрекшееся от окружающего ландшафта.

И алые цветы герани, выглядывавшие из ящиков, лету были меньше к лицу, чем красные матрасы, по утрам наброшенные на перила и проветривавшиеся. Посидеть на лоджии можно было на железных садовых стульях, увитых коваными прутьями или тростником. Мы сдвигали их потеснее, когда по вечерам тут собирался наш читательский кружок. Газовый свет лился из красно-зеленого пылающего бутона на книжки дешевой библиотеки издательства «Реклам». Последний вздох Ромео проносился над нашим двором, ища ответа – эха, дожидавшегося его в гробнице Джульетты.

Со времени моего детства лоджии изменились меньше, чем все прочие помещения дома. Но не только этим они мне так дороги. А скорее другим: тем, что они, не приспособленные для жилья, служат утешением человеку, который сам лишен крова над головой. Лоджия для берлинца – граница его дома. На лоджии живет Берлин – сам бог этого города. И здесь он чувствует себя столь полновластным хозяином, что рядом с ним не может очутиться что-либо мимолетное. Под защитой этого божества место и время обретают самих себя и примиряются друг с другом. Они покоятся здесь подле ног берлинского бога. А ребенок, который когда-то входил в их союз, чувствует себя на своей лоджии, окруженный этой троицей, словно в заранее сооруженном для него мавзолее.

«Императорская панорама»

Виды далеких стран, которые показывали в «Императорской панораме», потому были необычайно привлекательны, что начать можно было с любой картины. Ведь стена, вдоль которой стояли стулья, была круглая, и зритель, проходя по кругу и пересаживаясь с места на место, смотрел через два оконца в блекло окрашенные дали. Свободное место я находил всегда. А в те времена, когда с детством я почти уже простился, а мода на панорамы прошла, я нередко совершал свое круговое путешествие в полупустом помещении.

Музыки, столь разнеживающей, когда путешествуешь в кинематографе, здесь, в «Императорской панораме», не было. Сильнее, чем всякая музыка, действовали на меня другие звуки, слабые, да, по существу, и неприятные: звоночки. Звоночек раздавался за секунду до того, как картинка, дернувшись, отъезжала в сторону, оставляя пустоту, которую затем заполняла новая картинка. При этих звоночках все застилала влажная пелена разлуки: и горы до самых подножий, и города с их зеркально чистыми окнами, и вокзалы с клубами дыма, и виноградники – до последнего крохотного листочка. Тут я понимал, что невозможно за один раз исчерпать все великолепие вида. И являлся план, так никогда и не исполненный, – назавтра снова прийти, чтобы досмотреть. Но еще до того как я на что-то решался, весь аппарат, скрытый от меня деревянным коробом, резко вздрагивал, картинка, шарахнувшись в маленькой рамке, ускользала куда-то влево, прочь с моих глаз.

Искусства, худо-бедно влачившие здесь свое существование, в двадцатом веке вымерли. В начале столетия последними посетителями панорам были дети. Дальние страны не всегда были чужими для них. Случалось, что томительное желание, которое пробуждали эти картины, влекло не в неведомые края, а домой. Вот и мне однажды диапозитив с видом городка Экса внушил, что когда-то я играл там на каменных плитах, хранимых древними платанами бульвара Мирабо.

Если на улице лил дождь, я не задерживался у входа перед списком, содержащим названия пятидесяти картин. Войдя внутрь, я видел, что среди фиордов или под кокосовыми пальмами разливался тот же свет, что вечерами озарял мой ученический пульт со школьными тетрадками. Разве что иногда из-за неисправности проводки ландшафт внезапно лишался красок. Он простирался, безмолвный, под пепельным небом, а мне казалось, всего секунду назад я мог расслышать свист ветра и колокольный звон, если бы только слушал получше.

Колонна Победы[1]

Она стояла посреди широкой площади, точно красная цифра на листке отрывного календаря. Вот бы и сорвали эту колонну с места да убрали, в последний раз отпраздновав годовщину Седана. Когда я был маленьким, невозможно было вообразить, чтобы хоть какой-то год обошелся без Дня Седана[1]. От Седанской битвы к тому времени только и осталось – парады. Так что в 1902 году, когда после проигранной Бурской войны дядюшка Крюгер[2] проезжал по Тауенциенштрассе, я тоже стоял с гувернанткой в публике, собравшейся поглазеть на героя, который ехал себе, при цилиндре, откинувшись на мягкую спинку сиденья. Говорили тогда, что он «провел войну». Мне эти слова чрезвычайно понравились, хотя и показались не вполне точными: как если бы кто-то «провел» на веревке носорога или верблюда, за что и удостоился почестей. Однако что же еще могло быть после Седана? После поражения французов мировая история сошла в достославную могилу, обелиском над которой встала эта колонна.

Учась в четвертом классе гимназии, я полюбил шагать по ступеням, возносившим путника к властителям Аллеи Победы[2]. Меня привлекали, собственно, лишь два вассала, стоявшие каждый в своем углу мраморного рельефа на задней стороне постамента. Оба – ниже своих сеньоров, так что их можно было хорошенько разглядеть. А из всех прочих я очень полюбил епископа, рукой в перчатке державшего маленький собор. Сам-то я из деталей конструктора «Анкерштейн» мог построить собор и побольше, чем этот. С той поры, где бы ни встречалось мне изображение святой Екатерины, я непременно искал глазами колесо, а если передо мной была святая Варвара – темницу[3].

Каково происхождение украшений на колонне Победы, мне рассказали. И все-таки я не понял, что там за история приключилась с пушечными стволами: то ли французы пошли воевать, вооружившись золотыми пушками, то ли мы отлили пушки из золота, которое отобрали у французов. Постамент колонны кольцом охватывала крытая колоннада. Я ни разу не вошел под ее своды, где свет мягко играл на золоте мозаичных панно. Было страшно: а вдруг там картины вроде тех, какие я ненароком увидел в книге, подвернувшейся мне в гостиной одной из моих старых тетушек. То было роскошное издание «Ада» Данте. Героев, чьи подвиги являлись взору на мозаиках колоннады, я в глубине души считал существами не менее презренными, чем Дантовы неисчислимые грешники, исхлестанные ветром, обратившиеся в кровоточащие древесные обрубки, вмерзшие в ледяные глыбы и обреченные искупать свои прегрешения. Поэтому круглая колоннада представлялась мне преисподней, противоположностью круга милости Божией, что золотился на самом верху памятника, над блистающей Викторией. В иные дни там, наверху, стояли люди. На фоне неба они казались обведенными черным контуром, как бумажные фигурки для вырезания и наклеивания. А разве не брался я за ножницы и банку с клеем, чтобы, закончив свою постройку из деталей конструктора, украсить ее порталы, ниши и оконные наличники человечками, совсем такими, как эти? Творениями такого же восторженного произвола были ярко озаренные люди наверху колонны. Вечный солнечный день был вокруг них. Или вечный День Седана?

---

[1] День Седана – 2 сентября 1870 года во время Франко-прусской войны под Седаном произошло знаменитое сражение, закончившееся полной победой немцев и пленением французского императора Наполеона III.

[2] Дядюшка Крюгер – Пауль Крюгер (1825–1904), президент Трансвааля, одной из южно-африканских республик, сражавшихся с британскими колониальными войсками в Англо-бурской войне.

Телефон

То ли аппараты так устроены, то ли память – могу сказать лишь одно: уже ставшие отголосками прошлого шорохи, которые сопровождали первые телефонные разговоры, звучали не так, как нынче. Те шорохи были ночными. Ни одна муза не соединит вас с ними. Они прилетали из той ночи, которая предшествует рождению всего поистине нового. Новорожденным был и голос, до поры до времени дремавший в телефонном аппарате. Мы с телефоном братья-близнецы – родились в один день и час. Мне довелось быть свидетелем того, как он оставил в прошлом все унижения первых лет своей жизни. Ведь как раз тогда, когда бесславно сгинули и были забыты люстры, каминные экраны, консоли, сервировочные столики, пальмы в кадках и балюстрады перед эркерами, прежде горделиво красовавшиеся в гостиных, телефонный аппарат, подобно легендарному герою, брошенному на произвол судьбы в горной теснине, выбрался из темного ущелья коридора и триумфально прошествовал в залитые ярким светом комнаты, обжитые молодым поколением. И стал для молодых утешением в одиночестве. Отчаявшимся, решившим покинуть земную юдоль, он дарил свет последней надежды. С покинутыми он делил ложе. Пронзительный голос прорезался у него в эмиграции, а в первые годы, когда все с нетерпением ждали его призыва, он звучал приглушенно.

Немногие, пользующиеся телефонным аппаратом, знают, какие разрушения производил он в семейном быту, когда только-только появился на свет. Звон, которым он нарушал тишину между двумя и четырьмя часами дня, если школьному товарищу хотелось со мной поговорить, раздавался словно сигнал тревоги, он возвещал об опасности, нависшей не только над послеобеденным отдыхом моих родителей, но и над всей эпохой, лелеявшей их сон. Регулярно происходили препирательства с чиновными ведомствами, не говоря уже об угрозах и громовых проклятиях, которые мой отец обрушивал на какую-нибудь инстанцию, куда звонил с жалобой. Однако в подлинный экстаз отца приводила ручка телефона, которую надо было крутить, – этим оргиям он предавался самозабвенно и подолгу. Сжатый кулак отца был словно вертящийся до умопомрачения дервиш. А у меня при виде этого сильно билось сердце, так как я не сомневался, что телефонной барышне не избежать оплеухи в наказание за нерадивость.

В те времена телефон, уродец и изгнанник, висел на стене по соседству с коробом для грязного белья и газовым счетчиком, в углу черного коридора, что вел в кухню; звонки его, доносившиеся оттуда, усиливали и без того немалые страхи, обитавшие в берлинской квартире. Когда же я, ощупью пробравшись по темной, без малейшего проблеска, кишке коридора и мало-мальски опомнившись, срывал с телефона, чтобы прекратить наконец этот мятежный звон, обе его трубки, тяжелые, как гантели, и прижимал их одну к уху, другую к подбородку – с этого мгновения я был немилосердно отдан во власть голоса, раздававшегося в аппарате. Ничто на свете не могло ослабить мощный натиск этого голоса. Я был бессилен, я страдал, боясь, что он разобьет все мои планы, замыслы и обязанности; как медиум повинуется голосу, повелевающему ему из иного мира, так соглашался я с первым же предложением, если оно делалось по телефону.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1.

Колонна Победы установлена на Королевской площади (Кенигсплац) в честь победы немцев во Франко-прусской войне 1870 года. Колонна увенчана позолоченной статуей богини победы Виктории в лавровом венке. В 1938 году ко дню рождения Гитлера колонна была перенесена на площадь Большой Звезды.

2.

Аллея Победы – бульвар в берлинском парке Тиргартен, построенный по приказу кайзера Германии Вильгельма II в 1895–1901 годах. На бульваре было установлено 32 мраморных памятника бранденбургским и прусским правителям. Каждую скульптурную группу помимо памятника самому правителю составляли два бюста личностям, прославившимся во времена его правления.

3.

Святая Екатерина (Екатерина Александрийская, III век н. э.) – в устрашение великомученицы враги построили ужасное пыточное колесо, которое чудесным образом разрушил явившийся ангел. Святая Варвара (IV век н. э.) – с житием святой Варвары связана следующая легенда: ночью к христианской мученице, помещенной в темницу, явился Господь, и наутро все следы истязаний, имевшиеся на ее теле, чудесным образом исчезли.